

«Люди спасаются только слабостью своих способностей — слабостью воображения, внимания, мысли, иначе нельзя было бы жить».

И.А. Бунин «Окаянные дни»

Глава первая

Москва, 1918

Дождь лил несколько суток, оплакивал разграбленный, одичавший город. Под утро небо расчистилось, показались звезды. Холодная луна осветила пустынные улицы, площади, переулки, проходные дворы, разбитые особняки, громады многоэтажных зданий, купола храмов, зубчатые кремлевские стены. Проснулись куранты на Спасской башне, пробили двенадцать раз, то ли полночь, то ли полдень, хотя на самом деле было три часа утра.

Большевицкое правительство поселилось в Кремле еще в марте. Кремль, древняя неприступная крепость, остров, отделенный от города глубокими рвами, мутной речной водой, был надежней дворцов Петрограда. Кремлевский слесарь, мастер на все руки, упорно пытался починить старинный часовой механизм, разбитый снарядом во время боев в ноябре 1917. Куранты плохо слушались, вроде бы начинали идти, но опять вставали и никак не желали играть «Интернационал» вместо «Коль славен наш Господь в Сионе». Откашлявшись, как будто извинившись, они прохрипели какую-то невнятную мелодию и затихли.

Новая власть хотела командовать не только людьми, но и временем. Полночь наступала ранним вечером, утро — глубокой ночью.

Почти перестали ходить трамваи. Фонари не горели, темны были улицы, темны окна, лишь иногда дрожал за мутным невымытым стеклом желтый огонек керосинки. И если в каком-нибудь доме вспыхивало среди ночи электричество, это означало, что в квартирах идут обыски.

Парадный подъезд дома на Второй Тверской был заколочен. Жильцы пользовались черным ходом. По заплеванному щербатым ступеням волокли вверх санки с гнилой картошкой. На площадках

между этажами ночевали какие-то личности в тряпье. Из квартир неслись звуки гармошки, визг, матерный рев, пьяный смех, похожий на собачий лай.

После суточного дежурства в госпитале Михаил Владимирович Свешников спал у себя в кабинете, на диване, одетый, в залатанных брюках и вязаной фуфайке. Ночь была теплая, но профессор мерз во сне, он сильно похудел и ослаб, у него сводило живот от голода. В последнее время ему перестали сниться сны. Он просто проваливался в глухую черноту. Это было не так уж плохо, ибо раньше каждую ночь снилась ушедшая, нормальная жизнь. Происходила коварная подмена, возникало искушение принять сон за реальность, а от реальности отмахнуться как от случайного ночного кошмара. Многие так и делали. То есть добровольно, целенаправленно, день за днем, ночь за ночью сводили себя с ума. Но не дай Бог. Следовало жить, работать, спасать, когда вокруг убивают, беречь двух своих детей, Таню и Андрюшу, маленького внука Мишу, старушку няню и ждать, что страшное время когда-нибудь кончится.

Михаил Владимирович работал рядовым хирургом все в том же лазарете, только теперь он носил имя не Святого Пантелиимона, а товарища Троцкого и был уже не военным госпиталем, а обычной городской больницей, подчиненной Комиссариату здравоохранения.

Сутки на ногах. Обходы, осмотры, консультации, сложнейшая операция на сердце, которая длилась четыре с половиной часа и вроде бы прошла успешно. При острой нехватке лекарств, хирургических инструментов, опытных фельдшеров и сестер, в грязи и мерзости спасенная жизнь казалась невозможным чудом, счастьем, хотя стоила совсем немного, всего лишь фунт ржаной муки. Красноармеец на базаре ткнул штыком в спину мальчишку-беспризорника. Десятилетний ребенок попытался стащить у него кулек с мукой. Давно уж никого не удивляла такая страшная дешевизна человеческой, детской жизни. Люди умирали сотнями тысяч по всей России.

Михаил Владимирович спал так крепко, что шум и крики за стеной не сразу его разбудили. Он проснулся, когда прозвучали выстрелы.

Светало. На пороге кабинета стояла Таня, держала на руках сонного хмурого Мишу.

— Папа, доброе утро. Лежи, не вставай. Возьми Мишу. У тебя, кажется, было берлинское издание «Психиатрии» Блюера. — Она закрыла дверь, повернула ключ в замке.

— Да. Посмотри в шкафу, где-то на нижних полках.

— Контра! Генеральская рожа! Убью! — донесся вопль из коридора.

— Папа, чернил у тебя случайно не осталось? — спокойно спросила Таня. — Мои все кончились. Надо писать курсовую по клинической психиатрии, а нечем.

— Пиши чернильным карандашом. Возьми там, на столе, в стакане.

За дверью опять грохнули выстрелы. Мишенька вздрогнул, откнулся лицом деду в грудь и тихо, жалобно заплакал.

— Буржуи! Ненавижу! Довольно попили народной крови! Вычеркиваю! Всех вас, белую кость, к стенке! Кончилось ваше время! Всех вычеркиваю!

— Что там происходит? — спросил Михаил Владимирович, прижимая к себе внука.

— Как будто ты не понимаешь. Комиссар беснуется, — объяснила Таня.

Комиссара по фамилии Шевцов поселили в квартире Михаила Владимировича месяц назад, в порядке уплотнения. Он вместе с гражданской женой, которую звали товарищ Евгения, занял гостиную. Комиссар ходил в длинном кожаном пальто, в казачьих галифе василькового цвета, в лаковых остроносых сапогах. Его обритый череп имел странную, зауженную кверху форму. Щеки и нижняя часть лица были пухлыми, круглыми. Он щурил маленькие тусклые глазки, как будто целился в собеседника из револьвера. По будням вел себя тихо. Рано утром отправлялся на службу. Возвращался поздно вечером, молча, мрачно слонялся по коридору в кальсонах и просаленной матросской тельняшке.

Товарищ Евгения, юная, елеино нежная блондинка, нигде не служила, вставала поздно, заводила граммофон, щеголяла в шел-

ковых пеньюарах, отделанных перьями и пухом. Утром варила на примусе настоящий кофе. Пила из тонкой фарфоровой чашки, жеманно оттопырив мизинец. Долго сидела в кухне, качала голый ногой, курила ароматную папироску в длинном мундштуке, читала одну и ту же книжку, «Капризы страсти», Г. Немиловой. Круглые голубые глаза, блестящие, словно покрытые свежей глазурью, ласково смотрели на Андрюшу, на Михаила Владимировича. Товарищ Евгения задумчиво улыбалась, трепетала подведенными веками, случайно оголяла небольшую грушевидную грудь и тут же с лукавой улыбкой прикрывала: «Ах, пардон».

Андрюше было четырнадцать, Михаилу Владимировичу пятьдесят пять. Из представителей мужского пола, проживающих в квартире, только десятимесячный Миша не удостоивался внимания товарища Евгении.

С Таней в первые дни она пробовала подружиться. Рассказывала, какие видела изумительные вещички на Кузнецком, платица креп-жоржет, кофточка вязаные. Короткий рукавчик, воротник апаш, шелковый ирис, цвет сырого желтка, давленной клюквы, и с той же воркующей интонацией вдруг спрашивала, не собирается ли профессор Свешников удрать в Париж, хорош ли был Танин муж, белый полковник, в половом отношении.

В первую неделю все казалось не так страшно. Семья профессора отнеслась к подселенцам как к неизбежному, но терпимому злу. Уплотняли всех, подсеяли и по пять, и по десять человек, уголовников, наркоманов, сумасшедших, кого угодно. А тут всего лишь двое. Комиссар Шевцов — ответственный работник, товарищ Евгения — эфемерное, безобидное создание.

Однажды в воскресенье ответственный работник напился и стал буяннить. Вызвали милиционера, но комиссар чудесным образом протрезвел, показал какие-то мандаты, пошептался с милиционером, и тот удалился, вежливо заметив профессору, что нехорошо беспокоить служителей порядка по таким пустякам.

— У моего Шевцова голос громкий, командный, соответственно должности, — объяснила товарищ Евгения, — он человек прогрессивный, пролетарского самосознания и никаких мещанских скандалов органически терпеть не может.

Впрочем, пил комиссар не чаще раза в неделю, только в выходной, и успокаивался довольно скоро.

— Где Андрюша? Где няня? — спросил Михаил Владимирович.

— Не волнуйся. Они на кухне, дверь успели запереть. — Присев на корточки, Таня спокойно просматривала корешки книг на нижних полках.

— Раньше он не стрелял в квартире, — заметил Михаил Владимирович.

— А теперь стреляет. Но это еще полбеды, папа. Я не хотела тебе говорить, но пару дней назад товарищ Евгения предлагала Андрюше кокаин. Вот, нашла. — Таня вытащила книгу, села за стол.

— Он тебе рассказал? — спросил Михаил Владимирович.

— Нет. Я случайно услышала их разговор. И знаешь, мне показалось, если бы я не зашла в кухню, не увела бы Андрюшу, он бы согласился попробовать, просто из любопытства и детского куража.

Топот, грохот, мат звучали совсем близко, в коридоре. К ним прибавился женский смех.

— Шевцов, ты ведешь себя гадко, перестань скандалить, я этого мешанства органически не выношу. — Голос у товарища Евгении был низкий, томный. Она заливалась хохотом, спектакль явно ей нравился.

— Ну, что касается кокаина, так не они его придумали, — сказал Михаил Владимирович и почесал переносицу. — Андрюша разумный человек. Вряд ли он бы стал пробовать. Тебе показалось. Я поговорю с ним.

— Поговори, — кивнула Таня, глядя в раскрытую книгу, — но дело не только в кокаине. Папа, ты должен наконец решиться.

— На что, Танечка? Ты же знаешь, они меня не выпустят.

— Не выпустят, — прошептала Таня, — не выпустят. Стало быть, надо искать другие варианты. Допустим, ты согласишься сотрудничать с ними, войдешь в доверие, они отправят тебя в командировку за границу. Многие так делают.

— Да, Танечка, возможно, отправят. Тем более тут останутся заложники. Ты, Миша, Андрюша, няня. Куда же я денусь? Вернусь

как миленький. Впрочем, если я стану сотрудничать, наша жизнь, безусловно, изменится. Они отселят этих, позволят нам занять всю квартиру, как прежде. Дадут хороший паек. Прекратят ночные спектакли с обысками. Тебе не придется работать в госпитале, ты сможешь спокойно закончить университет. Андрюша перейдет в нормальную школу, где будут учить, а не опролетаривать.

— Папа, таких школ больше нет. Ты же знаешь, школа теперь не учебное заведение, а инструмент коммунистического воспитания. И обыски не прекратятся. У меня муж белый полковник, служит у Деникина.

— Убью! Контра! Гадина белогвардейская! Пролетариям жрать нечего, он крыс зерном кормит! Убью! — не унимался комиссар за стеной.

— Возьми Мишеньку. Посмотри, кажется, он мокрый. Не волнуйся. Запри за мной. — Михаил Владимирович встал и быстро вышел, плотно затворив дверь.

Выстрелы звучали из лаборатории. Комиссар палил по стеклянным ящикам с крысами, обстреливал шкафы. От звона, грохота, крысиного писка закладывало уши. Товарищ Евгения стояла рядом, в распахнутом японском кимоно с драконами, и весело, звонко смеялась.

Шевцов был замечательным стрелком. Он сразу попадал по движущимся мишеням, по мечущимся подопытным зверькам. За шумом ни он, ни его подруга не расслышали, как подошел сзади в мягких старых валенках профессор.

Михаил Владимирович схватил комиссара за запястье правой руки, в которой зажат был револьвер, и успел удивиться, что от Шевцова совсем не пахнет спиртным. Комиссар легко освободил руку, не выронив револьвера. Дуло тут же наметило новую, удобную и близкую цель, профессорский лоб. Товарищ Евгения взвизгнула и отскочила, вжалась в стену.

«Он вовсе не пьян, — подумал профессор. — У него отличные реакции, нечеловеческая сила, его движения точны и безошибочны. Он машина для убийства. Параноидная психопатия. Что-то вроде повальной эпидемии. Сейчас пальнет. Господи, прими мою грешную душу, спаси и помилуй моих детей».

Из кучи осколков на полу вдруг взметнулся белый комок. Большая крыса подпрыгнула, вцепилась острыми коготками в комиссарские кальсоны, стала быстро, ловко карабкаться вверх. Шевцов дернулся, отшвырнул зверька и тут же, на лету, подстрелил.

Все это продолжалось не более минуты. Следующий выстрел предназначался профессору. Раздался щелчок. Комиссар сник, сгорбился, со спокойной досадой прокрутил пустой барабан, вяло выругался.

Повисла тишина. Стало слышно, что опять накрапывает за окном мелкий дождь. В коридоре у двери стояли Таня с Мишенькой на руках, старая няня. Товарищ Евгения сидела в углу на корточках, закрыв лицо руками. Плечи ее вздрагивали. Нельзя было понять, рыдает она или все так же истерически смеется.

Первым опомнился Михаил Владимирович. Оглядевшись, он спросил:

— Где Андрюша?

— Побежал за милицией, — ответила Таня.

Шевцов, ни на кого не глядя, прошел по коридору. Следом, всхлипывая, теряя шлепанцы, поплелась товарищ Евгения. Хлопнула дверь гостиной. Няня взяла Мишеньку и унесла его к себе. Михаил Владимирович поднял с пола белый окровавленный комок, убитую крысу.

— Неужели Григорий Третий? — спросила Таня.

— Он. Рука не поднимается просто выбросить. Может, похороним его, как героя? Ты знаешь, он спас меня, последняя пуля из комиссарского револьвера предназначалась мне.

Таня обняла отца, вжалась лицом в его плечо.

— Папочка, мы уедем, мы сбежим, я не могу больше.

— Тихо, тихо, Танечка, перестань. Я жив, радоваться надо, а ты плачешь.

— Григория жалко, я к нему привыкла. — Таня улыбнулась сквозь слезы. — Старый мудрый крыс, прожил почти три крысиных века.

— И погиб, защитив меня от комиссарской пули.

— Мы положим его в шляпную коробку, зароем во дворе.

Минут через двадцать явились два милиционера. Долго составляли протокол, потом о чем-то беседовали с Шевцовым в гостиной, за закрытой дверью.

— Вы что, не арестуете его? — спросил Андрюша, когда они вышли.

— Истребление крыс уголовным преступлением не является. Наоборот, это дело полезное в санитарном и общественном отношении. Оружие товарищу комиссару разрешено, согласно должности. И мандат имеется. А что касаясь учиненного беспорядка, так товарищ комиссар готов штраф уплатить, как положено.

— Это лабораторные крысы, — сказала Таня.

— Тут, гражданка, полезная жилплощадь, а не лаборатория, — ответил милиционер.

— Он не только по крысам стрелял, но и в меня тоже хотел, — сказал Михаил Владимирович.

— Коли хотел, так и пристрелил бы, — резонно заметил милиционер.

— Конечно, пристрелил бы. Но у него патроны в барабане кончились.

— Кончились, не кончились, а вы, гражданин, вполне живы, никаких ранений у вас не наблюдается.

— Но позвольте! Он психически болен, он опасен, — возмутилась Таня.

— А вот кто тут опасен, это надо разобраться, гражданка Данилова, — произнес мелодичный низкий голос.

Товарищ Евгения стояла в коридоре и смотрела на Таню блестящими глазами.

Милиционеры ушли. Товарищ Евгения скрылась в гостиной. Таня, Михаил Владимирович и Андрюша молча выметали осколки и крысиные тушки, приводили в порядок лабораторию. Няня в кухне стряпала скудный завтрак. Несколько ведер с мусором вынесли во двор, на свалку. Григория Третьего похоронили внутри оградки, там, где прежде была клумба и росли анютины глазки. Дождь кончился. Ключья облаков мчались по небу. Таня стояла над холмиком, влажный холодный ветер трепал ей волосы.

— Ничего не осталось? — тихо спросила она отца, когда вернулись в квартиру, сели за стол.

Михаил Владимирович молча помотал головой.

— Папа, так невозможно! — вдруг крикнул Андрюша. — Должна быть какая-то управа на этих скотов! Так не бывает, папа!

— Не кричи, — Михаил Владимирович погладил его по голове. — Бывает по-всякому, Андрюша, и ты уже достаточно взрослый, чтобы это понимать.

— Но мы не можем, как кролики, терпеть!

— Успокойся, ешь, остынет. — Таня подвинула ему тарелку с ячменной кашей.

Няня заваривала желудевый кофе, просыпала из кулька на пол.

— Ой, я бестолковая, да что ж это, руки мои старые, дырявые!

Она заплакала. Все утро мужественно держалась, а из-за паршивого кофейного заменителя — слезы. Михаил Владимирович принялся ее утешать и вдруг застыл, замолчал на полуслове. В руках у него был мятый лист толстой цветной бумаги. Кулек из-под кофе оказался репродукцией, выданной из какого-то дорогого альбома. Профессор шагнул к окну, ближе к свету, несколько минут разглядывал репродукцию странной незнакомой картины. Казалось, он забыл обо всем на свете. Губы его едва заметно шевелились, глаза сияли.

— Папа, ты что? — спросила Таня слегка испуганно.

— Альфред Плут, — пробормотал Михаил Владимирович, — Германия, шестнадцатый век. Микроскоп был изобретен только через сто лет. Как он мог увидеть?

* * *

Германия, поезд Гамбург—Мюнхен, 2007

Поезд нырнул в туннель. Свет в вагоне вспыхнул не сразу. Именно этого мгновенного мрака Соне хватило, чтобы понять наконец, кого так мучительно напоминает ей мужчина напротив.

Незнакомец резко выделялся на фоне пассажиров первого класса. Ему было на вид лет пятьдесят. Он жевал жвачку. В его